

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Полина Виардо - Фестиваль у Тургенева -

- Поездка за границу - Огарев, Гарибальди, Бакунин

В сороковых годах состав итальянской оперы в Петербурге был замечательный; в ней пели знаменитые европейские певцы: Рубини, Тамбурины, Лаблаш; хотя их блестящее сценическое поприще уже было на Закате, но все-таки они своим пением доставляли большое наслаждение.

Тогда в партер не ходили женщины; но нашлась одна пионерка, которая своим появлением производила большое волнение в театре; из лож и в партере все смотрели на нее в бинокли, и даже гул пробегал по зрительной зале, так как каждый делал свое замечание о смелой особе. Это была барышня Пешель, бывшая институтка Смольного института, генеральская дочь. Пешель величаво проходила к своему креслу третьего ряда, как бы гордясь своей храбростью. Наружность ее шла к роли пионерки: она была высокого роста, довольно полная, с резкими чертами лица и сильная брюнетка. Она была русская, но тип ее лица был иностранный. Вообще Пешель проявила себя пионеркой не в одном партере итальянской оперы, а и в образе своей жизни. Тогда русские женщины боялись афишировать себя дамами полусвета и всегда старались запастись мужем. Пешель, хотя жила с матерью, но вдова-генеральша играла такую ничтожную роль в салоне своей дочери, что все равно как бы ее не было.

Пешель задавала обеды, вечера с итальянскими второстепенными певцами и певицами. На ее обеды и вечера собиралось много светского мужского общества. Всех интересовало знать: кто дает ей средства жить так богато? Кроме пенсии, вдова и ее дочь ничего не имели. Но Пешель умела скрывать имя своего покровителя. Когда она начала сходить с ума от запутанных своих денежных дел, то и высказала имя своего покровителя, удивив всех, потому что он был важное чиновное лицо, уже имевшее внучат и постоянно проповедывавшее строгую нравственность в семейной жизни. Панаев познакомился с ней через своих приятелей, и В.П.Боткин приставал к Панаеву, чтобы он познакомил и его с Пешель.

Приехав с обеда Пешель, которая угостила их трюфелями и шампанским, Боткин находился в самом приятном настроении духа, а это всегда выражалось тем, что он склонял свою лысую голову на бок и умильным тоном говорил:

- Милая женственная натура! Общество такой женщины доставляет эстетическое наслаждение, как-то освежает тебя, нет этой сухоты, прозы, какую выносишь после общества добродетельных женщин. Ты, Панаев, счастливчик, что она оказывает тебе особенное внимание [088].

Тогда писатели выказывали большое сочувствие к женскому вопросу тем, что старались опозитизировать падших женщин, "Магдалин XIX века", как они выражались.

Появилась в итальянской опере примадонна Полина Виардо, которая сделалась любимицей публики. Такого крикливого влюбленного, как Тургенев, я думаю, трудно было найти другого. Он громогласно всюду и всем оповещал о своей любви к Виардо, а в кружке своих приятелей ни о чем другом не говорил, как о Виардо, с которой он познакомился. Но в первый год знакомства Тургенева с Виардо из рассказов его и других лиц, которые бывали у Виардо, видно было, что она не особенно была внимательна к Тургеневу. В те дни, когда Виардо знала, что у нее будут с визитом аристократические посетители, Тургенев должен был сидеть у ее мужа в кабинете, беседовать с ним об охоте и посвящать его в русскую литературу. На званые вечера к Виардо его тоже не приглашали. После получения наследства в 1851 году, Тургенев приобрел право равенства с другими гостями в салоне у Виардо. Зато сначала как дорожил Тургенев малейшим вниманием Виардо! Я помню, раз вечером Тургенев явился к нам в каком-то экстазе.

- Господа, я так счастлив сегодня, не может быть на свете другого человека счастливее меня! - говорил он.

Приход Тургенева остановил игру в преферанс, за которым сидели Белинский, Боткин и другие. Боткин стал приставать к Тургеневу, чтобы он поскорее рассказал о своем счастье, да и другие очень заинтересовались. Оказалось, что у Тургенева очень болела голова, и сама Виардо потеряла ему виски одеколоном. Тургенев описывал свои ощущения, когда почувствовал прикосновение ее пальчиков к своим вискам. Белинский не любил, когда прерывали игру, бросал сердитые взгляды на оратора и его слушателей и, наконец, воскликнул нетерпеливо:

- Хотите, господа, продолжать игру, или смешать карты? Игру стали продолжать, а Тургенев, расхаживая по комнате, продолжал еще говорить о своем счастье. Белинский поставил ремиз и с сердцем сказал Тургеневу:

- Ну, можно ли верить в такую трескучую любовь, как ваша?

Любовь Тургенева к Виардо мне тоже надоедала, потому что он, не имея денег абонироваться в кресла, без приглашения являлся в ложу, на которую я абонировалась в складчину с своими знакомыми. Наша ложа в третьем ярусе и так была набита битком, а колоссальной фигуре Тургенева требовалось много места. Он бесцеремонно садился в ложе, тогда как те, кто заплатил деньги, стояли за его широкой спиной и не видали ничего происходившего на сцене. Но этого мало; Тургенев так неистово аплодировал и вслух восторгался пением Виардо, что возбуждал ропот в соседях нашей ложи [089].

Виардо отлично пела и играла, но была очень некрасива, особенно неприятен был ее огромный рот. В типе ее лица было что-то еврейское; хотя Тургенев клялся всем, что она родом испанка, но жадность к деньгам в Виардо выдавала ее происхождение. За кулисами очень скоро сделалось это известно. Умерла одна бедная хористка; после нее осталась мать-старушка и маленькие дети, которых умершая кормила своим трудом. Все итальянские певцы и певицы пожертвовали на похороны несчастной труженицы, даже хористы и хористки из своего скудного жалованья дали денег, сколько кто мог - одна Виардо не дала ни гроша. Она также отказалась петь даром в спектакле или концерте, не помню хорошо, который давался в пользу хора. Первые итальянские певцы и певицы считали как бы обязанностью принять участие в таких концертах, чтобы сделать полный сбор.

Жадность Виардо сделалась известной всей публике, посещавшей итальянскую оперу. Князь И.И.Воронцов-Дашков давал у себя вечер и пригласил итальянских певцов; тогда была мода давать вечера с итальянскими певцами. Князь Воронцов-Дашков был между аристократами самым видным лицом [090]. Никто из итальянских певцов не подумал, принимая приглашение, предъявлять ему условия, одна Виардо письменно заявила, что не будет петь менее, как за 500 рублей, и получила ответ, что князь согласен заплатить ей эти деньги. Хозяин и хозяйка очень любезно разговаривали со всеми итальянскими певцами; но с Виардо ограничились поклоном; как только она окончила свое пение, то лакей поднес ей на подносе пакет с деньгами, и ее не пригласили остаться на вечере, как других артистов. Это происшествие быстро разнеслось по Петербургу, все удивлялись бестактности Виардо, да, я думаю, и она сама очень досадовала, потому что все, кто пел на вечере у князя Воронцова-Дашкова, получили подарки тысячи по две. Тургенев божился, клялся, что виноват во всем муж Виардо, забыв, что прежде сам восхищался, как Виардо умела поставить себя в такую независимость относительно мужа, что он побаивался ее и не смел вмешиваться в ее денежные дела.

Не припомню, через сколько лет Виардо опять приехала петь в итальянской опере [091]. Но она уже потеряла свежесть своего голоса, а о наружности нечего и говорить: с годами ее лицо сделалось еще некрасивее. Публика принимала ее холодно. Тургенев находил, что Виардо гораздо лучше стала петь и играть, чем прежде, а что петербургская публика настолько глупа и невежественна в музыке, что не умеет ценить такую замечательную артистку [092].

Другая итальянская певица, Анджиолина Бозио, даже поплатилась жизнью за свою купность. Она также производила большой фурор в итальянской опере; ей также подносили ценные подарки. Кроме того, она получила множество бриллиантов и всяких драгоценностей от одного важного старика, графа Орлова, который влюбился в нее и вел себя, как мальчишка. Если Бозио сидела в театре в ложе, то старик не смотрел на сцену и не сводил глаз с своего кумира, делал ей мимические знаки, прикладывал руку к губам, посылая ей поцелуи и т.п. Бозио кокетливо ему улыбалась. Впрочем, как ей было не улыбаться такому важному и щедрому старичку, который почти каждое утро, посещая ее, преподносил ей большую коробку конфет, где только сверху были конфеты, а внизу лежало много русского золота, или нитка жемчуга, или нитка бриллиантов. Для Бозио ничего не значило потерять 5 или 6 тысяч, но она ни за что не хотела лишиться их и, больная, постом поехала в Москву в сильный мороз, чтобы дать там два или три концерта. Доктор предупреждал ее, что она рискует заболеть, но она не послушалась и поплатилась жизнью, получив во время поездки воспаление легких. После смерти Бозио, ее супруг сделал выгодную аферу, распродав все ее вещи по дорогой цене. Поклонники Бозио раскупали ее имущество нарасхват, и один мой знакомый, большой ее поклонник, но небогатый человек, купил сломанную гребенку Бозио за десять рублей и очень сердился, когда я доказывала ему, что аферист, муж Бозио, продал ему сломанную свою гребенку или ее горничной [093].

Как-то раз я сказала Белинскому, в критическую минуту его денежного затруднения, отчего он не займет денег у своего приятеля П.В.Анненкова, у которого был капитал. Белинский улыбнулся и ответил:

- Какая вы наивная, право! Разве не видите, что он русский кулак!

Тогда я указала на В.П.Боткина.

- Покорно благодарю, тоже придумали; душу всю вымотает своими разговорами, что он нуждается в деньгах. Нет, уж я лучше буду иметь дело с ростовщиком, чем с кем-нибудь из них. Ростовщику дал жидовские проценты - и конец, а тут еще считай себя обязанным [094].

- Хотите, я как бы от себя скажу им, что вы нуждаетесь в деньгах? - спросила я Белинского.

- Сохрани вас Бог! - я тогда рассорюсь с вами на век!.. Не надо, я извернусь как-нибудь.

Я все-таки не послушалась Белинского и в присутствии Анненкова и Боткина сказала, что Белинский очень нуждается в деньгах. "Ах, бедный! тяжело ему теперь жить с семейством!" - заметил сочувственно один, а другой нашел, что Белинскому вовсе не следовало жениться. Я все-таки надеялась, что кто-нибудь из них предложит денег Белинскому, но ошиблась. Панаев сидел без гроша, но занял для Белинского сто рублей; надо было хитрить, чтоб Белинский не узнал, что для него заняты деньги. Я наврала ему, что Панаев получил из деревни деньги и, если Белинский займет у него, то еще сделает этим одолжение, потому что Панаев растратит их и, когда придется платить за квартиру, то денег наверно у него не окажется.

- Я слышал, Панаев, что вы разбогатели деньгами? - спросил Белинский.

- Разбогател, да боюсь за себя, что скоро их истрочу.

- Что значит русский помещик! Жгут им руки деньги! Дайте мне займы сто рублей на три месяца, я по частям вам уплачу.

Вот к каким хитростям надо было прибегать, чтобы дать Белинскому займы сто рублей, и как обрадовался он, когда уплатил свой долг Панаеву.

В сороковых годах наложена была плата на заграничный паспорт в 500 руб., с целью ограничить число уезжающих русских, стремившихся пожить в Европе. Только те освобождались от этой платы, кто представлял свидетельство от, авторитетных докторов, что

болезнь их пациента безотлагательно требует лечения заграничными водами. Понятно, что все богатые люди добывали себе легко такие свидетельства и даром получали паспорта. Панаев мечтал давно о путешествии за границу, тем более, что его приятели, бывшие в Париже, описывали парижскую жизнь, как Магометов рай.

В то время все русские помещики, когда им нужны были деньги, закладывали в Опекунский Совет своих мужиков; то же сделал и Панаев для своей поездки за границу. Программу путешествия он составил обширную: ему хотелось побывать во всех замечательных городах Франции, Италии, Германии и Англии. Пока совершалась формальная процедура заклада крестьянских душ, некоторые знакомые из кружка уже поехали за границу: Огарев, Боткин, два знакомых помещика, которые так-же ехали на деньги заложенных своих крестьян. Оба помещика не знали ни одного иностранного языка и, как маленькие дети, заучивали французские фразы, самые необходимые для разговоров с отельной прислугой. Впрочем, они ехали с В.П.Боткиным, перед которым до смешного благоговели, и каждое его слово для них было законом. Белинский, слушая толки о поездках за границу, сказал:

- Счастливы, а нашему брату-батраку разве во сне придется видеть Европу! А что, господа, если бы какого-нибудь иностранного литератора переселить в мою шкуру хотя бы на месяц - интересно было бы посмотреть, что бы он написал? Уж на что я привык под обухом писать, а и то иногда перо выпадет из рук от мучительного недоумения: как затемнить свою мысль, чтобы она избежала инквизиционной пытки цензора. Чуть увлечешься, распишешься, как вдруг известная тебе физиономия злорадно шепчет на ухо: "Строчи, голубчик, строчи, как попадется мне корректура твоей статьи, я вот тут и поставлю красный крест и обезобразю до неузнаваемости твою мысль". Злость берет, делаешь вопрос самому себе: и какой же ты писатель, что не смеешь ясно излагать свою мысль на бумаге? Лучше иди рубить дрова, таскай кули на пристани! После такого физического труда хоть спал бы мертвым сном, а после своей работы до изнеможения сил - ляжешь и целую ночь глаз не сомкнешь от разных скверных мыслей. Ведь в самом деле, какую пользу можешь принести своим писаньем, если уподобляешься белке в клетке, скачущей на колесе.

Перед отъездом за границу, лето мы проводили в Петербурге, и Белинский также... Тургенев жил на даче в Парголово, часто приезжал в город и останавливался у нас, так как не имел городской квартиры.

Тургенев восхищался своим поваром, которого нанял на лето, описывал, какие тонкие обеды он готовил, когда Тургенев приглашал к себе на дачу своих знакомых.

- Небось, графов и баронов угощаете тонкими обедами, а своих приятелей-литераторов не приглашаете к себе, - шутя заметил Белинский.

Тургенев обрадовался этой мысли и пригласил всех к себе на дачу на обед, говоря, что он сделает такой фестиваль, какого мы не ожидаем. День он назначил сам и требовал от всех честного слова, что приедут к нему.

- Мы-то приедем, а вот вы-то не удерите с нами такую штуку, как зимой: создали нас всех на вечер, а сами не явились домой! - сказал Белинский.

С Тургеневым не раз случалось, что он пригласит приятелей к себе и по рассеянности забудет и не окажется дома.

Белинский сказал, прощаясь, Тургеневу: "Я за день до нашего приезда напишу вам, чтобы вы не забыли своего приглашения".

День был жаркий, когда мы в 11 часов, все шесть человек приглашенных, отправились в коляске в Парголово. Все были утомлены от жары и пыли в дороге. Подъехав к даче Тургенева, все радостно вздохнули и стали выходить из коляски; но всех поразило, что Тургенев не вышел нас встретить. Мы вошли в палисадник и стали стучаться в двери стеклянной террасы. Мертвая

тишина царила в доме. У всех лица повытянулись. Белинский воскликнул: "Неужели Тургенев опять сыграл с нами такую мерзкую штуку, как зимой?"

Но его успокаивали, предполагая, что Тургенев, вероятно, не ожидал так рано нашего приезда.

- Да я писал ему, что мы в час будем у него... Это черт знает что такое! Хоть бы в комнату нас пустили, а то жарились в дороге на солнце и стой теперь на припеке, - горячился Белинский.

Наконец выскочил из ворот какой-то мальчик, и все на него набросились с вопросами. Оказалось, что барин ушел, а его повар сидит в трактире. Дали мальчику денег, чтобы он сбежал за поваром и привел его отворить дверь. Мальчик убежал, а мы в ожидании уселись на ступеньках террасы. Повар не являлся. Белинский настаивал, чтобы мы ехали домой. Мы уехали бы, но кучер нашей коляски не соглашался везти нас обратно, пока не отдохнут его измученные лошади. Поневоле надо было сидеть у запертой дачи. Все проголодались; Панаев и двое из приехавших отправились в трактир посмотреть, нельзя ли достать чего-нибудь поесть. Тогда Парголово было настоящей деревней, еду трудно было достать. Панаев явился и объявил, что в трактире никакой еды нет, да и такая грязь, что противно кусок хлеба взять в рот. Все еще питали надежду, что Тургенев вернется домой. Я не рассчитывала на обед, понимая, что, если повара нет дома, так какой же можно приготовить обед, когда уже второй час, да и провизии нигде достать: в Парголове только рано утром запасались всем у разносчиков, объезжавших дачи. Я пошла в избу к хозяйке дачи, купила у нее яиц, молока, хлеба. В это время явился повар. Белинский накинулся на него с вопросом, где его барин. Повар отвечал, что не знает.

- А обед тебе сегодня заказан барином? - допрашивал Белинский.

- Никак нет-с!

Изумление и испуг выразились на всех лицах. Белинский весь вспыхнул, многозначительно посмотрел на всех и неожиданно разразился смехом, воскликнув:

- Вот так задал же нам фестиваль Тургенев [095]! Все тоже рассмеялись над комическим своим положением.

- Я-то дурак! - говорил Белинский, - хотел провести приятно день на даче! - и, обратясь к повару, продолжал: - Иди, любезный, отыщи своего барина, где хочешь, и приведи его домой.

Панаев и другие послали повара к священнику, так как Тургенев уже сообщил им, что он ухаживает, не без успеха, за хорошенькой дочерью священника и постоянно там сидит [096].

Мы пошли на берег озера, в ожидании прихода Тургенева, уселись в тени под деревом и любовались природой. Белинский лежал на траве и вдруг произнес:

- Как легко мне дышится, не то что в городе. Какая обида, что и одного дня не мог провести как добрые люди; что-нибудь да взбесит тебя.

Вскоре пришел Тургенев и стал божиться, что мы сами виноваты, что он ждал нас завтра. Его спросили о письме Белинского. Тургенев уверял, что никакого письма не получил.

- Хорошо, - сказал Белинский, - без оправданий обойдемся. Благодарите Бога, что вы мне не попались на глаза в первую минуту, я бы вас раскостил на все корки. Теперь нервы мои успокоились, и я не хочу вновь их раздражать. Сейчас уедем в город.

Тургенев начал упрашивать остаться и сказал, что обед уже заказан.

- А в котором часу вы нас накормите? чай, вечером? - спросил Белинский шутливым тоном.

Тургенев отвечал в том же тоне, что его повар всемогущий, и обед будет готов к 5-ти часам. Тургенев употребил все усилия, чтобы занять гостей и успел в этом; между прочим, он предложил стрелять в цель. Все пошли на его дачу, и Тургенев нарисовал углем на задах старого сарая человека и обозначил точкой сердце. Никто из его гостей не умел стрелять. Белинский каким-то образом с первого выстрела попал в самую точку, где было обозначено сердце. Он как ребенок обрадовался и воскликнул: "Я теперь сделаюсь бретером, господа!" Но затем стрелял так неудачно, что даже ни разу не попадал в фигуру. Стрельба продолжалась долго; легкий завтрак дал себя почувствовать, и все ждали нетерпеливо обеда. В 6 часов Белинский обратился к Тургеневу с вопросом:

- Что же ваш всемогущий повар не подает обед? Мы голодны, как волки.

По обеду, приготовленному на скорую руку исключительно из старых тощих куриц, нельзя было судить о кулинарном таланте повара.

Тургенев, сознавая это, сказал:

- Господа, в воскресенье приезжайте ко...

Но ему не дали окончить фразы, все покатались со меху, и сам Тургенев присоединился к общему смеху.

Белинский едва мог отдышаться от хохота, воскликнув:

- Тургенев, вы наивны, как младенец! Нет, уж старого воробья на мякине не надуете.

Новое приглашение Тургенева всех развеселило, и шуткам не было конца. Тургенев смешил, рассказывая свое положение, когда его повар в испуге прибежал и объявил, что гости приехали к нему на обед, и в каком он страхе шел к озеру. Погуляв по парку, выпив чаю, мы поехали в город и продолжали смеяться над фестивалем, который нам задал Тургенев.

Перед отъездом за границу Панаев находился в очень затруднительном положении с крепостной прислугой.

Его люди энергически протестовали, когда он хотел дать им паспорта с тем, чтобы они шли на места, пока он будет находиться за границей; оброка с них он не требовал. Я упрашивала Панаева дать им всем волю. На меня раздел дворовых произвел такое неприятное впечатление, что я тяготилась видеть около себя крепостных, да и эгоистическое чувство подсказывало мне - избавиться от грубой, ленивой и пьющей прислуги, которая вечно была недовольна, вечно заявляла массу требований. Панаев отпустил на волю всю свою прислугу.

Белинский, узнав об этом, сказал Панаеву:

- За это, Панаев, вам отпустится много грехов. Признаюсь вам, всякий раз, как ваш мрачный Андрей отворял мне дверь, я опускал свои глаза долу, чтоб не видеть его озлобленного, протестующего взгляда на свое рабство.

В нашем кружке все считали крепостное право бесчеловечным, но относились к помещичьей власти пассивно, так как большинство состояло из помещиков. Впрочем, и в интеллигентном обществе России сороковых годов тоже преобладал элемент помещиков. Гуманные помещики старались не входить в близкие отношения с своими крепостными мужиками и имели дело с ними через посредство своих управляющих и старост. В кружке же писателей все были поглощены литературными интересами и общечеловеческими вопросами. Встречались и такие помещики в кружке, которые из гуманности своих

воззрений считали долгом иметь непосредственные сношения с своими крепостными мужиками и жили в своих имениях, наезжая только зимой в Петербург. Один из таких гуманных помещиков бывал в кружке литераторов и всегда докторальным тоном ораторствовал о своих многотрудных обязанностях, о невежестве мужика и не без гордости рассказывал свои столкновения с губернской администрацией, которая вмешивалась в его помещичьи права и мешала ему в его предприятиях для блага своих крестьян.

Раз гуманный помещик долго ораторствовал о своей борьбе с чиновниками и сказал:

- Меня утешает одно, что на меня мои мужики смотрят, как на родного их отца, видя, что я пекусь о них, как о своих детях.

- А я не верю в возможность человеческих отношений раба с рабовладельцем! - возразил Белинский. - Рабство такая бесчеловечная и безобразная вещь и такое имеет развращающее влияние на людей, что смешно слушать тех, кто идеальничает, стоя лицом к лицу с ним. Этот злокачественный нарыв в России похищает все лучшие силы для ее развития. Поверьте мне, как ни невежествен русский народ, но он отлично понимает, что для того, чтобы прекратить свои страдания, нужно вскрыть этот нарыв, очистить заражающий, скопившийся в нем гной. Конечно, может, наши внуки или правнуки будут свидетелями, как исчезнет этот злокачественный нарыв - или народ сам грубо проткнет его, или умелая рука сделает эту операцию. Когда это совершится, мои кости в земле от радости зашевелиятся!

Лицо Белинского имело при этом какое-то вдохновенное выражение.

Гуманный помещик заметил ему:

- Вы говорите о будущем, а я - о настоящем и считаю себя более компетентным судьей, так как посвятил себя для защиты беспомощного мужика, находящегося в совершенно диком невежестве, иначе из него высосало бы всю кровь уездное крапивное семя.

- А вы не высасываете пот и кровь из своих крепостных? Да что об этом толковать! Позорное рабство никакими красками не украсишь.

Гуманный помещик разгорячился и возразил:

- Сейчас видно, что вы, сидя в Петербурге, с плеча рубите все самые сложные общественные вопросы. Без подготовки нельзя дать свободу русскому мужику, это все равно, что дать нож в руки ребенку, который едва умеет стоять на ногах, он сам себя порежет.

- Пусть его порежется сам, лишь бы его не пытали другие, вырезывая по куску мяса из его тела, да еще хвастая, что эту пытку делают для его же блага!

Гуманный помещик быстро встал и дрожащим голосом сказал:

- Вы сегодня в таком раздраженном состоянии, что с вами невозможно ни о чем говорить.

Затем он взял шляпу, простился со всеми и ушел. По его уходе все набросились на Белинского, обвиняя его в резкости. В.П.Боткин начал читать Белинскому нотацию о приличии и уверял, что он не знает русского мужика так хорошо, как его знает гуманный помещик.

Белинский расхаживал по комнате и вдруг, остановившись, произнес:

А глядишь, наш Лафайет, Брут или Фабриций Мужиков под пресс кладет, Вместе с свекловицей!

- Давно меня мутило слушать этого краснобая-помещика, и я вовсе не сожалею, что оборвал его нахальное хвастовство. Пусть знает, что не всех можно дурачить! Светскости во мне нет, так нечего об этом и разговаривать, господа!

По уходе Белинского, приятели долго еще рассуждали о его резкости, и Боткин предложил завтра же всем сделать визит гуманному помещику.

Я не буду описывать наше продолжительное путешествие от Петербурга до Берлина. Тогда (1844 год) железных дорог не было, и надо было совершить долгий путь на лошадях. Была осень, и Берлин очень походил на Петербург. На улицах, да и везде, большинство публики состояло из военных; за табель-д'отом в гостинице, где мы остановились, обедало много прусских офицеров, и меня удивило, что все они были точно деревянные, игрушечные солдаты, все на одно лицо: рыжие, рослые, с неподвижным гордым воинственным выражением в физиономии. Все сидели молча.

В Берлине мы нашли русских знакомых: Огарева и злосчастливого помещика З., приятеля Боткина. Я потом объясню - почему его я назвала "злосчастливым".

Они оба пришли обедать с нами. Тогда русские не могли обойтись без шампанского и выискивали всякий предлог выпить его. Наши соотечественники нашли, **что** надо поздравить нас с благополучным приездом в Берлин. Рыжие офицеры бросали гордые взгляды на наше общество, которое нарушило молчание за столом и оживленно разговаривало.

Помещик З. имел несчастье попасть в неприятное дело в Берлине, его не выпускала полиция из города, а попутчик его, Боткин, не захотел ждать его и уехал в Париж. Не зная ни слова ни по-немецки, ни по-французски, злосчастный помещик находился в очень затруднительном положении. Он при первой встрече с Панаевым жаловался на Боткина, который сам его подбил ехать изучать Европу и бросил в самую критическую минуту. На первом шагу своего изучения Европы З. должен был заплатить за свою любознательность 400 талеров. Дело в том, что, не зная прусских законов, помещик пригласил к себе с улицы женщину, и она прожила у него в номере с неделю. Он думал, что за глаза довольно заплатить ей 25 талеров, но она потребовала сто. Нахальство немки озлило З., и он выгнал ее вон, а она принесла жалобу полиции, требуя уже по закону себе 400 талеров, представив свидетелей, что прожила в номере у русского путешественника с неделю. Эти 400 талеров обеспечивали прокормление будущего ребенка, который мог родиться у этой женщины. Помещик не хотел платить, но все-таки с него взыскали 400 талеров, да 100 талеров ему стоили адвокат и переводчик.

- Другу и недругу буду отсоветовать ступать ногой в этот Берлин, - говорил злосчастный помещик. - Это дневной грабеж, какая это Европа, да у нас в Москве ничего подобного нет! Да мне не так жалко 500 талеров, как жалко то, что я так верил в гуманность Боткина, перед которым преклонялся, а он бросил меня, спеша в Париж, куда мы вместе должны были ехать; это не гуманно-с!

В Берлине лежал в постели поэт В. [097], ему делали операцию в ноге, которая у него давно болела. Через Огарева он просил нас навестить его, и мы поехали к нему. У больного мы застали сидящих двух дам, с которыми он нас познакомил. Молодая дама была жена Огарева, а худенькая, маленькая, живая старушка, еще с блестящими глазами и с коротенькими, полуседыми волосами - была знаменитая Беттина, друг Гёте [098].

Беттина мне сказала, что она очень рада познакомиться еще с одной русской женщиной, которых она очень любила, узнав теплоту их сердца и отзывчивость к добрым делам. Беттина без умолку говорила о своем благотворительном обществе, которое она учредила в Берлине. Она говорила очень скоро, мешая французский язык с немецкими фразами и пересыпая их словами: *баронесса*, *графиня* и *принцесса*, которые состояли членами ее благотворительного общества. Она передавала нам, как представлялась прусской королеве, прося ее быть покровительницей ее общества, и восхваляла щедрость М.Л.Огаревой, которая пожертвовала на лотерею ее общества дорогую свою турецкую шаль и бриллиантовую брошь. Из слов Беттины было видно, что берлинские баронессы и принцессы не очень-то расщедрились на жертвование вещей для лотереи и что щедрость русской барыни всех

поразила. Беттина несколько раз вставляла фразу: "мой друг Гёте". Беттина с Огаревой торопились в заседание благотворительного общества, и Беттина приглашала меня ехать с ними; когда я заметила, что я не член этого общества, то она мне ответила: "Это ничего не значит, вы пожертвуйте какую-нибудь из ваших бижу для нашей лотереи и будете иметь право находиться в нашем заседании". Но я не имела никаких бижу для пожертвования, да и для меня не могло быть интересным сидеть в обществе берлинской аристократии.

В. восхищался щедростью Огаревой и говорил, что она делает большой фурор в аристократических берлинских салонах своим умным и живым разговором, что Беттина в восторге от нее и удивляется, как многосторонне образованы русские женщины.

Огарева не была красива, но в ее глазах было какое-то особенное выражение пылкости и пылкости, когда она разговаривала.

Огарева на другой день сделала мне визит, но не застала меня дома. Я сочла за лучшее оказаться невежливой, чем заводить знакомство с светской барыней, и не отдала ей визита. Однако мне пришлось все-таки еще раз встретиться с ней в театре.

В иностранных театрах можно брать по два места в ложе, и случилось так, что другие два места заняла Огарева и ее кавалер, какой-то прусский барон, который указывал нам на сидящих в ложах берлинских аристократов и знакомил с их биографиями. Огарева рассказывала мне, как она познакомилась с Беттиной и как не может добиться от этой болтливой старушки никаких сведений о ее дружбе с Гёте, до такой степени она вся отдалась своему благотворительному обществу. "Приезжайте завтра вечером ко мне, - сказала Огарева, - у меня будет Беттина, и, кстати: увидите высшее берлинское общество". Но я на другой день уехала из Берлина [099].

Пробыв немного в Дрездене и Брюсселе, мы отправились в Париж, куда тянуло Панаева. В нашем вагоне поместился какой-то высокий молодой итальянец. Черты его лица были неправильны, но очень выразительны; его черные глаза сидели глубоко и имели мягкое выражение. Мы разговорились с ним, и он, узнав о нашем намерении ехать в Италию, стал описывать эту страну, и глаза его зажглись огнем.

Панаев коснулся политического положения Италии; тогда итальянец преобразился, его лицо дышало гневом, глаза метали искры, и он сказал;

- Вся Европа заключила, что итальянский народ до того развращен, что никогда не освободится от иноземного тиранства, но она ошибается: Италию продали патеры и развращенный класс сановников, но как они ни стараются поработить в народе любовь к своей родине подкупом и тиранством, он еще покажет всем, что в нем есть сила сбросить с себя иноземное и патерское иго!

Панаев его спросил, какой город его родина.

- Вся Италия! Я не имею постоянного пребывания, а кочую по всей Италии, да и повсюду в Европе. Я недавно вернулся из далекого путешествия и еду на короткое время в Париж, и еще не знаю, где буду через месяц.

Мне попала, по моей неосторожности, в глаз искра; я высовывалась из окна вагона смотреть на мелькавшие деревни. Мы ехали в экстренном поезде с минутными остановками, так что у нас почти не было времени поесть. Итальянец ухитрился все-таки достать на первой станции, где мы простояли не более двух минут, воды, чтобы я примачивала глаз. Приехав вечером в Париж, мы дружески простились с итальянцем; он усадил нас в омнибус отеля, где мы намеревались остановиться.

Панаев на другое же утро отправился разыскивать В.П.Боткина, а мне сделал визит итальянец и принес какую-то примочку для глаза, который почти уже прошел. Итальянец торопился на свидание с своими соотечественниками в кафе, куда собирались завтракать

итальянские эмигранты. Итальянец оставил мне свой адрес; он остановился на частной квартире у своего знакомого.

Панаев вернулся домой к 6-ти часам вечера вместе с Боткиным, который повел нас обедать в дешевенький ресторан, где мы нашли Н.П.Огарева, М.А.Бакунина, злополучного помещика З. и другого приятеля Боткина, тоже помещика, Шлыкова [100]. Боткин учил нас и помещиков, как надо заказывать обед, чтобы он обошелся дешевле. Но первый обед все-таки стоил дорого, потому что Огарев потребовал бутылку шампанского, помещики тоже спросили бутылку, чтобы отплатить Огареву;

Панаеву также надо было потребовать бутылку. Боткин сердился на такую роскошь, хотя пил шампанское, которым его угощали.

Боткин и Огарев повели Панаева и помещиков смотреть на какой-то бал, где веселятся гризетки, а Бакунин пошел проводить меня домой, и мы провели вечер за чаем. Бакунин расспрашивал меня о Белинском, о Петербурге, и, уходя, обещался принести мне книг. Итальянец еще раз заходил к нам с визитом, но опять не мог застать Панаева, которым завладел Боткин, знакомя его с Парижем. Через неделю итальянец пришел ко мне проститься. Он имел очень печальный вид, и я спросила его, что с ним.

- Я ехал в Париж, - отвечал он, - с большими надеждами, но мои соотечественники интересуются теперь больше парижской политикой, чем своей несчастной Италией, Утопистом меня нашли! Напрасно я рисковал многим, чтобы поговорить с ними о своей родине.

В это время пришел Бакунин, и я была в затруднении, потому что забыла фамилию итальянца. Насколько я была памятьлива на лица, настолько же забывчива на имена и фамилии. Но дело обошлось, и Бакунин заговорил о политическом положении Италии. Итальянец был удивлен, что русский так хорошо знает современное социальное и политическое состояние Италии; он пожалел, что ему надо спешить по делам, и раскланялся. Бакунин заинтересовался молодым итальянцем, стал расспрашивать меня, где я познакомилась с ним, и полюбопытствовал узнать его фамилию. Я принесла ему адрес, оставленный мне итальянцем. Бакунин прочел: "Жозеф Гарибальди". Пока я не увидела портрета Гарибальди, когда он уже сражался за свободу Италии, до тех пор я никак не воображала, что это был знакомый мне итальянец в Париже, фамилию которого я позабыла.

Гарибальди на портрете, конечно, был уже возмужалым человеком, но характерные черты его лица не изменились.

Дешевый ресторан, куда мы ходили обедать, сделался сборным пунктом русских путешественников. Часто удостаивал являться туда Сазонов, уже четыре года как поселившийся в Париже. Он корчил аристократа [101], брюзжал на то, что невозможно обедать в таком кабаке, сердился на гарсона за то, что тот плохо ему сервирует обед, заказывал всегда себе дорогие блюда. Между Сазоновым и Бакуниным происходили горячие споры о французской политике. Боткин был мучеником в это время, ему всюду мерещились шпионы, которые будто бы следят за русскими в Париже, и в каждом посетителе, обедающем одиноко за столом, он видел шпиона и страшно сердился на спорящих. Его воображение разыгрывалось иногда до того, что он от страха убегал из ресторана.

Боткин до смешного старался походить на парижанина; он удивил меня, спрятав в карман два куска сахара, который остался у него от поданного ему кофе. Я спросила, для чего он это делает, и получила ответ, что настоящие парижане всегда так делают, одни русские стыдятся экономии. Я проверяла его слова, но не заметила парижан, прячущих кусочки сахара в карманы.

Боткин сердился на меня за то, что я говорю по-русски на улице и в ресторанах, доказывая, что этого нельзя делать, потому что русских считают дикими, татарами, и везде берут с них дороже, чем с других иностранцев. Но эти аргументы меня не пугали, и я продолжала говорить по-русски, к его огорчению. Зато два его приятеля, помещики, раболепно

исполняли все его требования и в публике адресовались к нему с смешными французскими заученными фразами. Для практики французского языка помещики свели знакомство с гризетками и восторгались как их веселостью, так и своими успехами во французском языке.

Мне надоело ходить обедать в ресторан, тем более, что я иногда должна была оставаться без обеда до 8 часов вечера, потому что Панаев с Боткиным нередко пропадали с утра на весь день и запаздывали прийти за мной. Я сговорилась с квартирной хозяйкой, чтобы она готовила нам обед, но этим только наделала себе хлопот, потому что к нашему обеду, как в Петербурге, стали неожиданно являться гости по два, по три человека. Боткин восхищался моей мыслью иметь домашний стол в Париже. Он являлся к обеду с хреном для вареной говядины, потому что хрен продавался только в аптеке. Он потирал от удовольствия руки, если, придя к обеду, узнавал, что будут свежие щи или уха, которые я научила готовить квартирную хозяйку. Кушая щи или уху, он восхвалял мои кулинарные способности, но я испортила его благоволение к себе. Раз за обедом он стал укорять в попрошайстве Бакунина, который, не получая денег из России, сидел без копейки и занял у него 50 франков. Меня это страшно возмутило, и я высказала, что приятелям Бакунина стыдно не помочь ему, когда они сами тратят по сто рублей на ужины и обеды для первой встречной на улице француженки. Все пришли в изумление от моих слов, привыкнув, что я всегда молчала; но мое терпение лопнуло.

На каждом шагу я видела красноречивое противоречие их поступков с проповедываемыми ими возвышенными, гуманными воззрениями на вещи. Но, главное, все присутствующие знали, что Бакунин потому сидел без копейки, что спас одно русское семейство от голодной смерти: он заплатил долг соотечественника, который давно уже жил в Париже на трудовые гроши, но заболел, пролежал больно́й два месяца, вследствие чего задолжал, и его хотели посадить в тюрьму; тогда жена и дети должны были бы идти просить милостыню [102].

Я не намерена описывать здесь все подробности моего пребывания в Париже. Скажу только, что постоянные сплетни и дрязги, господствовавшие в среде приятелей, окружавших Панаева, надоели и опротивели мне страшным образом. Я была очень рада, что могла от них удалиться, познакомившись через Бакунина с двумя братьями Толстыми, казанскими помещиками, людьми очень образованными и чуждавшимися тех парижских развлечений, до которых так падко большинство русских путешественников. Я часто проводила вечера в обществе Бакунина и братьев Толстых и за чаем с наслаждением слушала их беседы, всегда интересные и для меня совершенно новые.

В одно прекрасное утро Панаев был поражен неожиданным сюрпризом: оказалось, что он уже забрал и истратил почти все свои деньги, хранившиеся у парижского банкира. Нечего было и думать об исполнении задуманной программы путешествия, т.е. о посещении Швейцарии и Италии, и нам пришлось поспешить с возвращением в Россию.

Бакунин при прощании просил меня сообщить Белинскому об одном проекте, который он задумал. Он часто говорил со мной о Белинском и сожалел, что тот напрасно тратит свои силы и способности, пытаясь втиснуть в узкую рамку литературы свою деятельность, что его могут удовлетворять односторонние литературные интересы.

- Он жестоко ошибается, - говорил Бакунин. - В нем клоко́чут самые животрепещущие общечеловеческие вопросы. Он преждевременно истлеет от внутреннего огня, который постоянно должен тушить в себе. Непростительно такому даровитому человеку, подобно беспутному моту, расточать свое духовное богатство без пользы. Возможно ли человеку свободно излагать свои мысли, убеждения, когда его мозг сдавлен тисками, когда он может каждую минуту ожидать, что к нему явится будочник, схватит его за шиворот и посадит в будку! Право, смешно и даже обидно смотреть, что человек при такой обстановке лезет из кожи, дурачит самого себя надеждами, что может что-нибудь сделать для общей пользы. Ужасная минута ожидает Белинского, когда он, искалеченный физически и нравственно, вдруг прозрит, что его деятельность, над которой он столько лет медленно изнывал, гроша не стоит!

Когда мы вернулись в Петербург, Белинский пришел к нам в тот же вечер.

Я нашла в нем большую переменную: он похудел, сгорбился и сильно кашлял; какая-то апатия появилась в нем. Мне удалось только на другое утро сообщить ему то, что просил меня передать Бакунин.

Белинский выслушал меня и сказал:

- Я знаю без него, что истлею преждевременно при тех условиях, в которых нахожусь; но все-таки не намерен осуществить его план. Между ним и мной огромная разница: во-первых, он космополит в душе; во-вторых, с своим знанием языков и энциклопедическим образованием, он может чувствовать твердую почву под ногами, где бы он ни очутился. А что же я-то буду делать, если меня оторвать от моей почвы и от моей деятельности, в которую я вложил свою душу? Я так же прекрасно вижу, что не могу принести той пользы, к которой порываюсь, но лучше сделать мало, чем ничего!.. Это он зафантазировался! Ведь это было бы одно и то же, что захотеть развести в Италии березовую рощу, привезти отсюда с корнями большие деревья и посадить на плодотворную почву. Ну, что бы вышло? Завяли бы все деревья! Такова и его фантазия о колонии русских в Париже. Бакунин, блестящий теоретик, слишком увлекается своими отвлеченными фантазиями. Он воображает, что все делается, как в сказке: окунулся Ванька-дурак в чан и вынырнул оттуда красавцем, весь в золоте, и зажил царем!

Белинский круто изменил разговор и начал расспрашивать об общих знакомых русских, которые проживали в Париже.

Белинский приходил каждый день, и мы подолгу беседовали, так как накопилось много разных предметов для разговоров. На мое замечание, откуда у него появилась такая апатия, он ответил:

- Вы молоды, здоровы, у вас есть надежды, а у меня впереди нет просвета, да еще никуда негодным калекой становлюсь!

Белинский, узнав, что мы скоро опять уезжаем из Петербурга на лето в Казанскую губернию, так как Панаеву непременно нужно было ехать в свою деревню, с завистью сказал:

- Эх вас носит - из Европы к татарам, а я так привинчен к Петербургу, что даже летом должен задыхаться от духоты, вони и глотать пыль, потому что нанял попроторнее квартиру, и о даче нечего думать. Неужели я никогда не выбьюсь из этой каторжной жизни батрака?.. Тьфу, пропасть! Из-за этих пакостных денег - каких только гадостей не испытывает человек!..